

Жан Поль Сартр
Стена

Нас втолкнули в просторную белую комнату. По глазам резанул яркий свет, я зажмурился. Через мгновение я увидел стол, за ним четырех субъектов в штатском, листающих какие-то бумаги. Прочие арестанты теснились в отдалении. Мы пересекли комнату и присоединились к ним. Многих я знал, остальные были, по-видимому, иностранцы. Передо мной стояли два круглоголовых похожих друг на друга блондина, я подумал: наверно, французы. Тот, что пониже, то и дело подтягивал брюки -- явно нервничал.

Все это тянулось уже около трех часов, я совершенно отупел, в голове звенело. Но в комнате было тепло, и я чувствовал себя вполне сносно: целые сутки мы тряслись от холода. Конвойные подводили арестантов поодиночке к столу. Четыре типа в штатском спрашивали у каждого фамилию и профессию. Дальше они в основном не шли, но иногда задавали вопрос: "Участвовал в краже боеприпасов?" или: "Где был и что делал десятого утром?" Ответов они даже не слушали или делали вид, что не слушают, молчали, глядя в пространство, потом начинали писать. У Тома спросили, действительно ли он служил в интернациональной бригаде. Отпираться было бессмысленно -- они уже изъяли документы из его куртки. У Хуана не спросили ничего, но как только он назвал свое имя, торопливо принялись что-то записывать.

-- Вы же знаете, -- сказал Хуан, -- это мой брат Хозе -- анархист. Но его тут нет. А я политикой не занимаюсь и ни в какой партии не состою.

Они молча продолжали писать. Хуан не унимался:

-- Я ни в чем не виноват. Не хочу расплачиваться за других. -- Губы его дрожали. Конвойный приказал ему замолчать и отвел в сторону. Настала моя очередь.

-- Ваше имя Пабло Иббиета?

Я сказал, что да. Субъект заглянул в бумаги и спросил:

-- Где скрывается Рамон Грис?

-- Не знаю.

-- Вы прятали его у себя с шестого по девятнадцатое.

-- Это не так.

Они стали что-то записывать, потом конвойные вывели меня из комнаты. В коридоре между двумя охранниками стояли Том и Хуан. Нас повели. Том спросил у одного из конвоиров:

-- А дальше что?

-- В каком смысле? -- отозвался тот.

-- Что это было -- допрос или суд?

-- Суд.

-- Ясно. И что с нами будет?

Конвойный сухо ответил:

-- Приговор вам сообщат в камере.

То, что они называли камерой, на самом деле было больничным подвалом. Там было дьявольски холодно и всю гуляли сквозняки. Ночь напролет зубы стучали от стужи, днем было ничуть не лучше. Предыдущие пять дней я провел в карцере одного архиепископства -- что-то вроде одиночки, каменный мешок времен средневековья. Арестованных была такая прорва, что их совали куда придется. Я не сожалел об этом чулане: там я не коченел от стужи, был один, а это порядком выматывает. В подвале у меня по крайней мере была компания. Правда, Хуан почти не раскрывал рта: он страшно трусил, да и был слишком молод, ему нечего было рассказывать. Зато Том любил поговорить и к тому же знал испанский отменно.

В подвале были скамья и четыре циновки. Когда за нами

закрылась дверь, мы уселись и несколько минут молчали. Затем Том сказал:

-- Ну все. Теперь нам крышка.

-- Наверняка, -- согласился я. -- Но малыша-то они, надеюсь, не тронут.

-- Хоть брат его и боевик, сам-то он ни при чем.

Я взглянул на Хуана: казалось, он нас не слышит. Том продолжал:

-- Знаешь, что они вытворяют в Сарагосе? Укладывают людей на мостовую и утюжат их грузовиками. Нам один марокканец рассказывал, дезертир. Да еще говорят, что таким образом они экономят боеприпасы.

-- А как же с экономией бензина?

Том меня раздражал: к чему он все это рассказывает?

-- А офицеры прогуливаются вдоль обочины, руки в карманах, сигаретки в зубах. Думаешь, они сразу приканчивают этих бедолаг? Черта с два! Те криком кричат часами. Марокканец говорил, что сначала он и вскрикнуть-то не мог от боли.

-- Уверен, что тут они этого делать не станут, -- сказал я, -- чего-чего, а боеприпасов у них хватает.

Свет проникал в подвал через четыре отдушины и круглое отверстие в потолке слева, выходящее прямо в небо. Это был люк, через который раньше сбрасывали в подвал уголь. Как раз под ним на полу громоздилась куча мелкого угля. Видимо, он предназначался для и топления лазарета, потом началась война, больных эвакуировали, а уголь так и остался. Люк, наверно, забыли захлопнуть, и сверху временами накрапывал дождь. Внезапно Том затрясся:

-- Проклятье! -- пробормотал он. -- Меня всего колотит. Этого еще не хватало!

Он встал и начал разминаться. При каждом движении рубашка приоткрывала его белую мохнатую грудь. Потом он растянулся на спине, поднял ноги и стал делать ножницы: я видел, как подрагивает его толстый зад. Вообще-то Том был крепыш и все-таки жирноват. Я невольно представил, как пули и штыки легко, как в масло, входят в эту массивную и нежную плоть. Будь он худощав, я бы, вероятно, об этом не подумал. Я не озяб и все же не чувствовал ни рук, ни ног. Временами возникало ощущение какой-то пропажи, и я озирался, разыскивая свою куртку, хотя тут же вспоминал, что мне ее не вернули. Это меня огорчило. Они забрали нашу одежду и выдали полотняные штаны, в которых здешние больные ходили в самый разгар лета. Том поднялся с пола и уселся напротив.

-- Ну что, согрелся?

-- Нет, черт побери. Только запыхался.

Около восьми часов в камеру вошли комендант и два фалангиста. У коменданта в руках был список. Он спросил у охранника:

-- Фамилии этих трех?

Тот ответил:

-- Стейнбок, Иббиета, Мирбаль.

Комендант надел очки и поглядел в список.

-- Стейнбок... Стейнбок... Ага, вот он. Вы приговорены к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром.

Он поглядел в список еще раз:

-- Оба других тоже.

-- Но это невозможно, -- пролепетал Хуан. -- Это ошибка.

Комендант удивленно взглянул на него:

-- Фамилия?

-- Хуан Мирбаль.

-- Все правильно. Расстрел.

-- Но я же ничего не сделал, -- настаивал Хуан.

Комендант пожал плечами и повернулся к нам:

-- Вы баски?

-- Нет.

Комендант был явно не в духе.

-- Но мне сказали, что тут трое басков. Будто мне больше делать нечего, кроме как их разыскивать. Священник вам, конечно, не нужен?

Мы промолчали. Комендант сказал:

-- Сейчас к вам придет врач, бельгиец. Он побудет с вами до утра.

Козырнув, он вышел.

-- Ну, что я тебе говорил, -- сказал Том. -- Не поспешили.

-- Это уж точно -- ответил я. -- Но мальчика-то за что? Подонки!

Я сказал это из чувства справедливости, хотя, по правде говоря, паренек не вызывал у меня ни малейшей симпатии. У него было слишком тонкое лицо, и страх смерти исковеркал его черты до неузнаваемости. Еще три дня назад это был хрупкий мальчуган -- такой мог бы и понравиться, но сейчас он казался старой развалиной, и я подумал, что, если б даже его отпустили, он таким бы и остался на всю жизнь. Вообще-то мальчишку следовало пожалеть, но жалость внушала мне отвращение, да и парень был мне почти противен.

Хуан не проронил больше ни слова, он сделался землисто-серым: серыми стали руки, лицо. Он снова сел и уставился округлившимися глазами в пол. Том был добряк, он попытался взять мальчика за руку, но тот яростно вырвался, лицо его исказила гримаса.

-- Оставь его, -- сказал я Тому. -- Ты же видишь, он сейчас разревется.

Том послушался с неохотой: ему хотелось как-то приласкать парнишку -- это отвлекло бы его от мыслей о собственной участи. Меня раздражали оба. Раньше я никогда не думал о смерти -- не было случая, но теперь мне ничего не оставалось, как задуматься о том, что меня ожидает.

-- Послушай, -- спросил Том, -- ты хоть кого-нибудь из них ухлопал?

Я промолчал. Том принялся расписывать, как он подстрелил с начала августа шестерых. Он определенно не отдавал себе отчета в сложившемся положении, и я прекрасно видел, что он этого не хочет. Да и сам я куда толком не осознавал случившегося, однако я уже думал о том, больно ли умирать, и чувствовал, как град жгучих пуль проходит сквозь мое тело. И все же эти ощущения явно не касались сути. Но тут я мог не волноваться: для ее уяснения впереди была целая ночь. И вдруг Том замолчал. Я искоса взглянул на него и увидел, что и он посерел. Он был жалок, и я подумал: "Ну вот, начинается!" А ночь подступала, тусклый свет сочился сквозь отдушины, через люк, растекался на куче угольной пыли, застывал бесформенными пятнами на полу. Над люком я заметил звезду: ночь была морозной и ясной.

Дверь отворилась, в подвал вошли два охранника. За ними -- белокурый человек в бельгийской военной форме. Поздоровавшись с нами, он произнес:

-- Я врач. В этих прискорбных обстоятельствах я побуду с вами.

Голос у него был приятный, интеллигентный. Я спросил у него:

-- А собственно, зачем?

-- Я весь к вашим услугам. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы облегчить вам последние часы.

-- Но почему вы пришли к нам? В госпитале полно других.

-- Меня послали именно сюда, -- ответил он неопределенно. И тут же торопливо добавил: -- Хотите покурить? У меня есть сигареты и даже сигары. -- Он протянул нам английские сигареты и гаванские сигары, мы отказались. Я пристально посмотрел на

него, он явно смутился. Я сказал ему:

-- Вы явились сюда отнюдь не из милосердия. Я вас узнал. В тот день, когда меня взяли, я видел вас во дворе казармы. Вы были с фалангистами.

Я собирался выложить ему все, но, к своему удивлению, не стал этого делать: бельгиец внезапно перестал меня интересовать. Раньше если уж я к кому-нибудь цеплялся, то не оставлял его в покое так просто. А тут желание говорить бесследно исчезло. Я поджал плечами и отвел глаза. Через несколько минут поднял голову и увидел, что бельгиец с любопытством наблюдает за мной. Охранники уселись на циновки. Долговязый Педро не знал, куда себя деть от скуки, другой то и дело вертел головой, чтобы не уснуть.

-- Принести лампу? -- неожиданно спросил Педро.

Бельгиец кивнул головой, и я подумал, что интеллигентности в нем не больше, чем в деревянном чурбане, но на злодея он похож все-таки не был. Взглянув в его холодные голубые глаза, я решил, что он подличает от недостатка воображения. Педро вышел и вскоре вернулся с керосиновой лампой и поставил ее на край скамьи. Она светила скудно, но все же это было лучше, чем ничего. Накануне мы сидели в потемках. Я долго вглядывался в световой круг на потолке. Вглядывался как замороженный. Вдруг все это исчезло, круг света погас. Я очнулся и вздрогнул, как под невыносимо тяжелой ношей. Нет, это был не страх, не мысль о смерти. Этому просто не было названия. Скулы мои горели, череп раскалывался от боли.

Я поежился и взглянул на своих товарищей. Том сидел, упрятав лицо в ладони, я видел только его белый тучный загривок. Маленькому Хуану становилось все хуже: рот его был полуоткрыт, ноздри вздрагивали. Бельгиец подошел и положил ему руку на плечо: казалось, он хотел мальчугана подбодрить, но глаза его оставались такими же ледяными. Его рука украдкой скользнула вниз и замерла у кисти. Хуан не шевельнулся. Бельгиец сжал ему запястье тремя пальцами, вид у него был отрешенный, но при этом он слегка отступил, чтобы повернуться ко мне спиной. Я подался вперед и увидел, что он вынул часы и, не отпуская руки, с минуту глядел на них. Потом он отстранился, и рука Хуана безвольно упала. Бельгиец прислонился к стене, затем, как если бы он вспомнил о чем-то важном, вынул блокнот и что-то в нем записал. "Сволочь! -- в бешенстве подумал я. -- Пусть только попробует щупать у меня пульс, я ему тут же харю разворочу". Он так и не подошел ко мне, но когда я поднял голову, то поймал на себе его взгляд. Я не отвел глаз. Каким-то безынтонационным голосом он сказал мне:

-- Вы не находите, что тут прохладно?

Ему и в самом деле было зябко: физиономия его стала фиолетовой.

-- Нет, мне не холодно, -- ответил я.

Но он не сводил с меня своего жесткого взгляда. И вдруг я понял, в чем дело. Я провел рукой по лицу: его покрывала испарина. В этом промозглом подвале, в самый разгар зимы, на ледяных сквозняках я буквально истекал потом. Я потрогал волосы: они были совершенно мокрые. Я почувствовал, что рубашку мою хоть выжимай, она плотно прилипла к телу. Вот уже не меньше часа меня заливало потом, а я этого не замечал. Зато скотина-бельгиец все прекрасно видел. Он наблюдал, как капли стекают по моему лицу, и наверняка думал: вот свидетельство страха, и страха почти патологического. Он чувствовал себя нормальным человеком и гордился, что ему сейчас холодно, как всякому нормальному человеку. Мне захотелось подойти и дать ему в морду. Но при первом же движении мой стыд и ярость исчезли, и я в полном равнодушии опустил на скамью. Я ограничился тем, что снова вынул платок и стал вытирать им шею. Теперь я явственно ощущал, как пот стекает с волос, и это было

неприятно. Впрочем, вскоре я перестал утираться: платок промок насквозь, а пот все не иссякал. Мокрым был даже зад, и штаны мои прилипали к скамейке. И вдруг заговорил маленький Хуан:

-- Вы врач?

-- Врач, -- ответил бельгиец.

-- Скажите... а это больно и... долго?

-- Ах, это... когда... Нет, довольно быстро, -- ответил бельгиец отеческим тоном. У него был вид доктора, который успокаивает своего платного пациента.

-- Но я слышал... мне говорили... что иногда... с первого залпа не выходит.

Бельгиец покачал головой:

-- Так бывает, если первый залп не поражает жизненно важных органов.

-- И тогда перезаряжают ружья и целятся снова?

Он помедлил и добавил охрипшим голосом:

--- И на это нужно время?

Его терзал страх перед физическим страданием: в его возрасте это естественно. Я же о подобных вещах не думал и обливался потом вовсе не из страха перед болью. Я встал и направился к угольной куче. Том вздрогнул и взглянул на меня с ненавистью: мои башмаки скрипели, это раздражало. Я подумал: неужели мое лицо стало таким же серым?

Небо было великолепно, свет не проникал в мой угол, стоило мне взглянуть вверх, как я увидел созвездие Большой Медведицы. Но теперь все было по-другому: раньше, когда я сидел в карцере архиепископства, я мог видеть клочок неба в любую минуту, и каждый раз оно пробуждало во мне различные воспоминания. Утром, когда небеса были пронзительно-голубыми и невесомыми, я представлял атлантические пляжи. В полдень, когда солнце было в зените, мне вспоминался севильский бар, где я когда-то попивал мансанилью, закусывая анчоусами и оливками. После полудня, когда я оказывался в тени, припоминалась глубокая тень, покрывающая половину арены, в то время как другая половина была залита солнцем; и мне грустно было видеть таким способом землю, отраженную в крохотном клочке неба. Но теперь я глядел в небо так, как хотел: оно не вызывало в памяти решительно ничего. Мне это больше нравилось. Я вернулся на место и сел рядом с Томом. Помолчали.

Через некоторое время он вполголоса заговорил. Молчать он просто не мог: только произнося слова вслух, он осознавал себя. По-видимому, он обращался ко мне, хотя и смотрел куда-то в сторону. Он, несомненно, боялся увидеть меня таким, каким я стал -- потным и пепельно-серым: теперь мы были похожи друг на друга, и каждый из нас стал для другого зеркалом. Он смотрел на бельгийца, на живого.

-- Ты в состоянии это понять? -- спросил он. -- Я нет.

Я тоже заговорил вполголоса. И тоже поглядел на бельгийца.

-- О чем ты?

-- О том, что вскоре с нами произойдет такое, что не поддается пониманию. -- Я почувствовал, что от Тома странно пахнет. Кажется, я стал ощущать запахи острее, чем обычно. Я съязвил:

-- Ничего, скоро поймешь.

Но он продолжал в том же духе:

-- Нет, это непостижимо. Я хочу сохранить мужество до конца, но я должен по крайней мере знать... Значит, так, скоро нас выведут во двор. Эти гады выстроятся против нас. Как по-твоему, сколько их будет?

-- Не знаю, может, пять, а может, восемь. Не больше.

-- Ладно. Пусть восемь. Им крикнут: "На прицел!" -- и я увижу восемь винтовок, направленных на меня. Мне захочется отступить к стене, я прислонюсь к ней спиной, изо всех сил попытаюсь в нее втиснуться, а она будет отталкивать меня, как в

каком-то ночном кошмаре. Все это я могу представить. И знал бы ты, до чего ярко!

-- Знаю, -- ответил я. -- Я представляю это не хуже тебя.

-- Это, наверно, чертовски больно. Ведь они метят в глаза и рот, чтобы изуродовать лицо, -- голос его стал злобным. -- Я ощущаю свои раны, вот уже час, как у меня болит голова, болит шея. И это не настоящая боль, а хуже: это боль, которую я почувствую завтра утром. А что будет потом?

Я прекрасно понимал, что он хочет сказать, но мне не хотелось, чтобы он об этом догадался. Я ощущал такую же боль во всем теле, я носил ее в себе, как маленькие рубцы и шрамы. Я не мог к ним привыкнуть, но так же, как он, не придавал им особого значения.

-- Потом? -- сказал я сурово. -- Потом тебя будут жрать черви.

Дальше он говорил как бы с самим собой, но при этом не сводил глаз с бельгийца. Тот, казалось, ничего не слышал. Я понимал, почему он здесь: наши мысли его не интересовали: он пришел наблюдать за нашими телами, еще полными жизни, но уже агонизирующими.

-- Это как в ночном кошмаре, -- продолжал Том. -- Пытаешься о чем-то думать, и тебе кажется, что у тебя выходит, что еще минута -- и ты что-то поймешь, а потом все это ускользает, испаряется, исчезает. Я говорю себе: "Потом? Потом ничего не будет". Но я не понимаю, что это значит. Порой мне кажется, что я почти понял... но тут все снова ускользает, и я начинаю думать о боли, о пулях, о залпе. Я материалист, могу тебе в этом поклясться, и, поверь, я в своем уме и все же что-то у меня не сходится. Я вижу свой труп: это не так уж трудно, но вижу его все-таки Я, и глаза, вззирающие на этот труп, МОИ глаза. Я пытаюсь убедить себя в том, что больше ничего не увижу и не услышу, а жизнь будет продолжаться -- для других. Но мы не созданы для подобных мыслей. Знаешь, мне уже случалось бодрствовать ночи напролет, ожидая чего-то. Но то, что нас ожидает, Пабло, совсем другое. Оно наваливается сзади, и быть к этому готовым попросту невозможно.

-- Заткнись, -- сказал я ему. -- Может, позвать к тебе исповедника?

Он промолчал. Я уже заметил, что он любит пророчествовать, называть меня по имени и говорить глухим голосом. Всего этого я не выносил, но что поделаешь: ирландцы все таковы. Мне показалось, что от него разит мочой. По правде говоря, я не испытывал к Тому особой симпатии и не собирался менять своего отношения только потому, что нам предстояло умереть вместе, -- мне этого было недостаточно. Я знал людей, с которыми все было бы иначе. К примеру, Рамона Грису. Но рядом с Хуаном и Томом я чувствовал себя одиноким. Впрочем, меня это устраивало: будь тут Рамон, я бы, вероятно, раскис. А так я был тверд и рассчитывал остаться таким до конца. Том продолжал рассеянно жевать слова. Было совершенно очевидно: он говорил только для того, чтобы помешать себе думать. Теперь от него несло мочой, как от старого простатика. Но вообще-то я был с ним вполне согласен, все, что он сказал, наверняка мог бы сказать и я: умирать противоестественно. С той минуты, как я понял, что мне предстоит умереть, все вокруг стало мне казаться противоестественным: и гора угольной крошки, и скамья, и паскудная рожа Педро. Тем не менее я не хотел об этом думать, хотя прекрасно понимал, что всю эту ночь мы будем думать об одном и том же, вместе дрожать и вместе истекать потом. Я искоса взглянул на него, и впервые он показался мне странным: лицо его было отмечено смертью. Гордость моя была уязвлена: двадцать четыре часа я провел рядом с Томом, я его слушал, я с ним говорил и все это время был уверен, что мы с ним совершенно разные люди. А теперь мы стали похожи друг на друга, как

близнецы, и только потому, что нам предстояло вместе подохнуть. Том взял меня за руку и сказал, глядя куда-то мимо:

-- Я спрашиваю себя, Пабло... я спрашиваю себя ежеминутно: неужели мы исчезнем бесследно?

Я высвободил руку и сказал ему:

-- Погляди себе под ноги, свинья.

У ног его была лужа, капли стекали по штанине.

-- Что это? -- пробормотал он растерянно.

-- Ты напустил в штаны, -- ответил я.

-- Вранье! -- прокричал он в бешенстве. -- Вранье! Я ничего не чувствую.

Подошел бельгиец, лицемерно изображая сочувствие.

-- Вам плохо?

Том не ответил. Бельгиец молча смотрел на лужу.

-- Не знаю, как это вышло, -- голос Тома стал яростным. -- Но я не боюсь. Клянусь чем угодно, не боюсь!

Бельгиец молчал. Том встал и отправился мочиться в угол. Потом он вернулся, застегивая ширинку, снова сел на скамью и больше не проронил ни звука. Бельгиец принялся за свои записи.

Мы смотрели на него. Все трое. Ведь он был живой! У него были жесты живого, заботы живого: он дрожал от холода в этом подвале, как и подобает живому, его откормленное тело повиновалось ему беспрекословно. Мы же почти не чувствовали наших тел, а если и чувствовали, то не так, как он. Мне захотелось пощупать свои штаны ниже ширинки, но я не решился это сделать. Я смотрел на бельгийца, хозяина своих мышц, прочно стоящего на своих гибких ногах, на человека, которому ничто не мешает думать о завтрашнем дне. Мы были по другую сторону -- три обескровленных призрака, мы глядели на него и высасывали его кровь, как вампиры. Тут он подошел к маленькому Хуану. Трудно сказать, отчего ему вздумалось погладить мальчика по голове; возможно, из каких-то профессиональных соображений, а может, в нем проснулась инстинктивная жалость. Если так, то это случилось единственный раз за ночь. Он потрепал Хуана по голове и шее, мальчик не противился, не сводя с него глаз, но внезапно схватил его руку и устоял на нее с диким видом. Он зажал руку бельгийца между ладонями, и в этом зрелище не было ничего забавного: пара серых щипцов, а между ними холеная розоватая рука. Я сразу понял, что должно произойти, и Том, очевидно, тоже, но бельгиец видел в этом лишь порыв благодарности и продолжал отечески улыбаться: И вдруг мальчик поднес эту пухлую розовую руку к губам и попытался укусить ее. Бельгиец резко вырвал руку и, споткнувшись, отскочил к стене. С минуту он глядел на нас глазами, полными ужаса: наконец-то до него дошло, что мы не такие люди, как он. Я расхохотался, один из охранников так и подскочил от неожиданности. Другой продолжал спать, через полузакрытые веки поблескивали белки. Я чувствовал себя усталым и перевозбужденным. Мне больше не хотелось думать о том, что произойдет на рассвете, не хотелось думать о смерти. Все равно ее нельзя было соотнести ни с чем, а слова были пусты и ничего не значили. Но как только я попытался думать о чем-то стороннем, я отчетливо увидел нацеленные на меня ружейные дула. Не менее двадцати раз я мысленно пережил свой расстрел, а один раз мне даже почудилось, что это происходит наяву: видимо, я слегка прикорнул. Меня тащили к стене, я отбивался и молил о пощаде. Тут я разом проснулся и взглянул на бельгийца: я испугался, что мог во сне закричать. Но бельгиец спокойно поглаживал свои усики, он явно ничего не заметил. Если бы я захотел, то мог бы малость вздремнуть: я не смыкал глаз двое суток и был на пределе. Но мне не хотелось терять два часа жизни: они растолкают меня на рассвете, выведут обалдевшего от сна во двор и прихлопнут так быстро, что я не успею даже пикнуть. Этого я не хотел, я не хотел, чтоб меня прикончили как животное, сначала я должен уяснить, в чем суть. И потом -- я

боялся кошмаров. Я встал, прошелся взад-вперед, чтобы переменить мысли, попытался припомнить прошлое. И тут меня беспорядочно обступили воспоминания. Они были всякие: и хорошие и дурные. Во всяком случае такими они мне казались ДО. Мне припомнились разные случаи, промелькнули знакомые лица. Я снова увидел лицо молоденького новильеро, которого вскинул на рога бык во время воскресной ярмарки в Валенсии, я увидел лицо одного из своих дядюшек, лицо Рамона Гриси. Я вспомнил, как три месяца шатался без работы в двадцать шестом году, как буквально подыхал с голоду. Я вспомнил скамейку в Гранаде, на которой однажды переночевал: три дня у меня не было ни крохи во рту, я бесился, я не хотел умирать. Припомнив все это, я улыбнулся. С какой ненасытной жадностью охотился я за счастьем, за женщинами, за свободой. К чему? Я хотел быть освободителем Испании, преклонялся перед Пи-и-Маргалем, я примкнул к анархистам, выступал на митингах; все это я принимал всерьез, как будто смерти не существовало. В эти минуты у меня было такое ощущение, как будто вся моя жизнь была передо мной как на ладони, и я подумал: какая гнусная ложь! Моя жизнь не стоила ни гроша, ибо она была заранее обречена. Я спрашивал себя: как я мог слоняться по улицам, волочиться за женщинами, если бы я только мог предположить, что стигну подобным образом, я не шевельнул бы и мизинцем. Теперь жизнь была закрыта, завязана, как мешок, но все в ней было не закончено, не завершено. Я уже готов был сказать: и все же это была прекрасная жизнь. Но как можно оценивать набросок, черновик -- ведь я ничего не понял, я выписывал векселя под залог вечности. Я ни о чем не сокрушался, хотя было множество вещей, о которых я мог бы пожалеть: к примеру, мансанилья или купанье в крохотной бухточке неподалеку от Кадиса, но смерть лишила все это былого очарования.

Внезапно бельгийцу пришла в голову блестящая мысль.

-- Друзья мои, -- сказал он, -- я готов взять на себя обязательство -- если, конечно, военная администрация будет не против -- передать несколько слов людям, которые вам дороги...

Том пробурчал:

-- У меня никого нет.

Я промолчал. Том выждал мгновение, потом с любопытством спросил:

-- Как, ты ничего не хочешь передать Конче?

-- Нет.

Я не выносил подобных разговоров. Но тут, кроме себя, мне некого было винить: я говорил ему о Конче накануне, хотя обязан был сдержаться. Я пробыл с ней год. Еще вчера я положил бы руку под топор ради пятиминутного свидания с ней. Потому-то я и заговорил о ней с Томом: это было сильнее меня. Но сейчас я уже не хотел ее видеть, мне было бы нечего ей сказать. Я не хотел бы даже обнять ее: мое тело внушало мне отвращение, потому что оно было землисто-серым и липким, и я не уверен, что такое же отвращение мне не внушило бы и ее тело. Узнав о моей смерти, Конча заплачет, на несколько месяцев она утратит вкус к жизни. И все же умереть должен именно Я. Я вспомнил ее прекрасные нежные глаза: когда она смотрела на меня, что-то переходило от нее ко мне. Но с этим было покончено: если бы она взглянула на меня теперь, ее взгляд остался бы при ней, до меня он бы просто не дошел. Я был одинок.

Том тоже был одинок, но совсем по-другому. Он присел на корточки и с какой-то удивленной полуулыбкой стал разглядывать скамью. Он прикоснулся к ней рукой так осторожно, как будто боялся что-то разрушить, потом отдернул руку и вздрогнул. На месте Тома я не стал бы развлекаться разглядыванием скамьи, скорее всего это была все та же ирландская комедия. Но я тоже заметил, что предметы стали выглядеть как-то странно: они были более размытыми, менее плотными, чем обычно. Стоило мне посмотреть на скамью, на лампу, на кучу угольной крошки, как

становилось ясно: меня не будет. Разумеется, я не мог четко представить свою смерть, но я видел ее повсюду, особенно в вещах, в их стремлении отдалиться от меня и держаться на расстоянии -- они это делали неприметно, тишком, как люди, говорящие шепотом у постели умирающего. И я понимал, что Том только что нащупал на скамье СВОЮ смерть. Если бы в ту минуту мне даже объявили, что меня не убьют и я могу преспокойно отправиться восвояси, это не нарушило бы моего безразличия: ты утратил надежду на бессмертие, какая разница, сколько тебе осталось ждать -- несколько часов или несколько лет. Теперь меня ничто не привлекало, ничто не нарушало моего спокойствия. Но это было ужасное спокойствие, и виной тому было мое тело: глаза мои видели, уши слышали, но это был не я -- тело мое одиноко дрожало и обливалось потом, я больше не узнавал его. Оно было уже не мое, а чье-то, и мне приходилось его ощупывать, чтобы узнать, чем оно стало. Временами я его все же ощущал: меня охватывало такое чувство, будто я куда-то соскальзываю, падаю, как пикирующий самолет, я чувствовал как бешено колотится мое сердце. Это меня отнюдь не утешало: все, что было связано с жизнью моего тела, казалось мне каким-то липким, мерзким, двусмысленным. Но в основном оно вело себя смирно, и я ощущал только странную тяжесть, как будто к груди моей прижалась какая-то странная гадина, мне казалось, что меня обвивает гигантский червяк. Я пощупал штаны и убедился, что они сырые: я так и не понял, пот это или моча, но на всякий случай помочился на угольную кучу.

Бельгиец вынул из кармана часы и взглянул на них. Он сказал:

-- Половина четвертого.

Сволочь, он сделал это специально! Том так и подпрыгнул -- мы как-то забыли, что время идет: ночь обволакивала нас своим зыбким сумраком, и я никак не мог вспомнить, когда она началась.

Маленький Хуан начал голосить. Он заламывал руки и кричал:

-- Я не хочу умирать, не хочу умирать!

Простирая руки, он бегом пересек подвал, рухнул на циновку и зарыдал. Том взглянул на него помутневшими глазами: чувствовалось, что у него нет ни малейшего желания утешать. Да это было и ни к чему; хотя мальчик шумел больше нас, его страдание было менее тяжким. Он вел себя как больной, который спасается от смертельной болезни лихорадкой. С нами было куда хуже.

Он плакал, я видел, как ему было жалко себя, а о самой смерти он, в сущности, не думал. На мгновение, на одно короткое мгновение мне показалось, что я заплачу тоже, и тоже от жалости к себе. Но случилось обратное: я взглянул на мальчика, увидел его худые вздрагивающие плечи и почувствовал, что стал бесчеловечным -- я был уже не в состоянии пожалеть ни себя, ни другого. Я сказал себе: ты должен умереть достойно.

Том поднялся, стал как раз под открытым люком и начал всматриваться в светлеющее небо. Я же продолжал твердить: умереть достойно, умереть достойно -- больше я ни о чем не думал. Но с того момента, как бельгиец напомнил нам о времени, я невольно ощущал, как оно течет, течет и утекает капля за каплей. Было еще темно, когда Том сказал:

-- Ты слышишь?

-- Да.

Со двора доносились звуки шагов.

-- Какого черта они там шатаются! Ведь не станут же они расстреливать нас в потемках.

Через минуту все стихло. Я сказал Тому:

-- Светает.

Педро, позевывая, поднялся, задул лампу и обернулся к своему приятелю:

-- Продрог как собака.

Подвал погрузился в сероватый полумрак. Мы услышали отдаленные выстрелы.

-- Начинается, -- сказал я Тому. -- По-моему, они это делают на заднем дворе.

Том попросил у бельгийца сигарету. Я воздержался: не хотелось ни курева, ни спиртного. С этой минуты они стреляли беспрерывно.

-- Понял? -- сказал Том.

Он хотел что-то добавить, но замолк и посмотрел на дверь. Дверь отворилась, и вошел лейтенант с четырьмя солдатами. Том выронил сигарету.

-- Стейнбок?

Том не ответил. Педро кивнул в его сторону.

-- Хуан Мирбаль?

-- Тот, что на циновке.

-- Встать! -- выкрикнул лейтенант.

Хуан не шелохнулся. Двое солдат схватили его под мышки и поставили на ноги. Но как только они его отпустили, Хуан снова упал. Солдаты стояли в нерешительности.

-- Это уже не первый в таком виде, -- сказал лейтенант. -- Придется его нести, ничего, все будет в порядке.

Он повернулся к Тому:

-- Выходи.

Том вышел, два солдата по бокам. Два других взяли Хуана за плечи и лодыжки и вышли вслед за ними. Хуан был в сознании, глаза широко раскрыты, по щекам текли слезы. Когда я шагнул к двери, лейтенант остановил меня:

-- Это вы -- Иббиета?

-- Да.

-- Придется подождать. За вами скоро придут.

Он вышел. Бельгиец и два охранника последовали за ним. Я остался один. Мне было неясно, что происходит, я предпочел бы, чтоб они покончили со всем этим сразу. До меня доносились залпы, промежутки между ними были почти одинаковы. И каждый раз я вздрагивал. Хотелось выть и рвать на себе волосы. Но я стиснул зубы и сунул руки в карманы: надо держаться. Через час за мной пришли и провели на первый этаж в маленькую комнату, где пахло сигарами и было так душно, что я едва не задохся. Два офицера курили, развалившись в креслах, на коленях у них были разложены бумаги.

-- Твоя фамилия Иббиета?

-- Да.

-- Где скрывается Рамон Грис?

-- Не знаю.

Тот, что меня спрашивал, был толстенький коротышка. Глаза его жестко всматривались в меня из-под очков. Он сказал:

-- Подойди.

Я подошел. Он поднялся и посмотрел на меня так свирепо, будто хотел, чтоб я провалился в преисподнюю, и начал выкручивать мне руки. Он делал это вовсе не потому, что желал причинить мне боль, он просто играл: ему было необходимо ощущать себя властелином. Он приблизил свое лицо и обдавал меня гнилостным дыханием. Это продолжалось с минуту, и я едва удерживался от смеха. Для того, чтобы испугать человека, который сейчас умрет, нужно что-нибудь посильнее, так что тут он сыграл довольно слабо. Потом он резко оттолкнул меня и снова сел. Он сказал:

-- Или ты, или он. Если скажешь, где он, будешь жить.

И все же этим типам в их галстуках и сапожиках тоже предстояло помереть. Правда, позже, чем мне, но в сущности не намного. Они выуживали из своих бумаг какие-то имена, они гонялись за людьми, чтобы посадить их или расстрелять: у них были свои взгляды на будущее Испании и на многое другое. Их

деловитая прыть коробила меня и казалась комичной, они выглядели спятившими, и я не хотел бы оказаться на их месте.

Смехотворный толстяк-коротышка неотрывно смотрел на меня, похлопывая хлыстом по сапогу. Все его движения были точно рассчитаны: ему хотелось производить впечатление лютого зверя.

-- Ну что, ты понял?

-- Мне неизвестно, где сейчас Грис, -- ответил я. -- Может, в Мадриде.

Другой офицер вяло поднял руку. И эта вялость тоже была рассчитанной. Я отлично видел все их загодя продуманные приемы и поражался, что находятся люди, которым все это доставляет удовольствие.

-- Мы даем вам четверть часа на размышление, -- сказал он, -- отведите его в бельевую, через четверть часа приведите обратно. Если будет заператься, расстреляйте немедленно.

Сволочи, они знали, что делают: я провел в ожидании ночь, потом меня заставили просидеть еще час в подвале, пока расстреливали Хуана и Тома, а теперь они намеревались запереть меня в бельевой -- несомненно они подготовили эту штуку еще вчера. Они решили, что нервы мои не выдержат всех этих проволочек и я сломаюсь. Но тут они дали маху. Разумеется, я знал, где скрывается Грис. Он прятался у своих двоюродных братьев, в четырех километрах от города. Так же хорошо я знал, что не выдам его убежище, если только они не начнут меня пытаться (но, кажется, они об этом не помышляли). Все это было для меня стопроцентно ясно, не вызвало сомнений и, в общем, нисколько не интересовало. И все же мне хотелось понять, почему я веду себя так, а не иначе. Почему я предпочитаю сдохнуть, но не выдать Рамона Грису? Почему? Ведь я больше не любил Рамона. Моя дружба к нему умерла на исходе ночи: тогда же, когда умерли моя любовь к Конче и мое желание жить. Конечно, я всегда его уважал: это был человек стойкий. И все-таки вовсе не потому я согласился умереть вместо него: его жизнь стоила мне дороже моей -- любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палят по нему, пока он не издохнет: кто бы это ни был -- я, или Рамон Грис, или кто-то третий -- все в принципе равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было начхать и на Испанию, и на анархизм: ничто больше не имело значения. И все-таки я здесь, я могу спасти свою шкуру, выдав Рамона Грису, но я этого не делаю. Мое ослиное упрямство казалось мне почти забавным. Я подумал: "Ну можно ли быть таким болваном!" Я даже как-то развеселился. За мной снова пришли и повели в ту же комнату. У ног моих прошмыгнула крыса, это меня тоже позабавило. Я обернулся к одному из фалангистов:

-- Гляди, крыса.

Конвойный не ответил. Он был мрачен, он все принимал всерьез. Мной овладело желание расхохотаться, но я сдержался: побоялся, что если начну, то не смогу остановиться. Фалангист был усат. Я сказал ему:

-- Сбрей усы, кретин.

Мне показалось смешным, что человек допускает еще при жизни, чтоб лицо его обрастало шерстью. Он лениво дал мне пинка, я замолчал.

-- Ну что, -- спросил толстяк, -- ты надумал?

Я взглянул на него с любопытством, как смотрят на редкостное насекомое, и ответил:

-- Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище. В склепе ил в домике сторожа.

Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупей и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакали с мест.

-- Пошли. Молес, возьмите пятнадцать человек у лейтенанта Лопеса.

-- Если это правда, -- сказал коротышка, -- я сдержу свое слово. Но если ты нас водишь за нос, тебе не поздоровится.

Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподымают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом: упрямый арестант, вздумавший корчить из себя героя, солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил, -- поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал: сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище. Но офицер внимательно поглядел на меня. Он вовсе не выглядел одураченным.

-- Отведите его на главный двор, к остальным, -- сказал он. -- После окончания боевых действий его судьбу решит трибунал.

Я подумал, что не так его понял. Я спросил:

-- Как, разве меня не расстреляют?

-- Во всяком случае не сейчас. И потом это уже не по моей части.

Я все еще не понимал.

-- Но почему?

Он молча передернул плечами, солдаты увели меня. На общем дворе толпилось около сотни арестованных: старики, дети. В полном недоумении я принялся бродить вокруг центральной клумбы. В полдень нас повели в столовую. Двое или трое пытались со мной заговорить. Очевидно, мы были знакомы, но я им не отвечал: я больше не понимал, где я и что. К вечеру во двор втолкнули дюжину новых арестантов. Среди них я узнал булочника Гарсиа. Он крикнул мне:

-- А ты везучий! Вот уж не думал увидеть тебя живым.

-- Они приговорили меня к расстрелу, -- отозвался я, -- а потом передумали. Не могу понять почему.

-- Меня взяли в два часа, -- сказал Гарсиа.

-- За что?

Гарсиа политикой не занимался.

-- Понятия не имею, -- ответил Гарсиа, -- они хватают каждого, кто думает не так, как они.

Он понизил голос:

-- Грис попался.

Я вздрогнул.

-- Когда?

-- Сегодня утром. Он свалил дурака. В среду вдрызг разругался с братцем и ушел от него. Желавших его приютить было хоть отбавляй, но он никого не захотел ставить под удар. Он сказал мне: "Я бы спрятался у Иббиеты, но раз его арестовали, спрячусь на кладбище".

-- На кладбище?

-- Да. Нелепая затея. А сегодня утром они туда нагрянули. Накрыли его в домике сторожа. Грис отстреливался, и они его прихлопнули.

-- На кладбище!

Перед глазами у меня все поплыло, я рухнул на землю. Я хохотал так неудержимо, что из глаз хлынули слезы.